Я родилась в семье польских политэмигрантов. Отец мой преследовался польской дефензивой, как коммунист и неоднократно сидел в тюрьмах (Седлецкой; Биало-подляской и др.). Последний раз он был осужден в 1926 г. На 5 лет и отбывал срок в Селедцкой тюрьме. По истечении 3-х летнего срока, в 1929 году отец был выпущен из тюрьмы на 3 месяца по состоянию здоровья и партия, во избежание дальнейшего отбывания срока наказания, направила его в СССР.

Итак, мои родители с дочерью 4-х лет в 1929 г. В статусе политэмигрантов прибыли в Советский Союз и поселились в г. Ленинграде в доме политэмигрантов. Отец занимал какие-то должности в МОПРе (Международная организация помощи революционерам), а мама работала на фабрике «Большевичка». Но в 1930 г. Партия направила отца на работу в г. Гомель (БССР) в качестве народного судьи (образование у отца было в пределах еврейской школы в польском местечке), а через несколько лет партия направила отца на работу директором Добружского отделения Госбанка БССР. В 1933 г. у моих родителей родился сын, которого назвали Фридрихом (в честь Энгельса), а в 1936 г. он умер, заболев скарлатиной. Отец очень тяжело переживал смерть сына и еще не оправился от этого горя, как вдруг…

13 февраля 1937 г. ночью отца арестовали. Мама была на 5-ом месяце беременности и была еще дочь 12 лет. Маму с дочерью выселили из большой, очень хорошо благоустроенной квартиры в подвальное помещение. Все знакомые и друзья моих родителей отвернулись от еврейской семьи. Мама добилась разрешения носить отцу в тюрьму передачи, забирать грязное белье, переодевая взамен чистое.

Однажды, когда мама в очередной раз принесла домой взятое у отца для стирки грязное белье и развернула его, то увидела, что кальсоны отца были почти целиком в крови. С этим вещественным доказательством она побежала в тюрьму и устроила там скандал. В результате всякие передачи в тюрьму и из тюрьмы маме запретили. Надо сказать, что в это время маму иногда вызывали на допросы в НКВД, в ходе которых ей говорили, что ее муж во всем признался (в шпионаже и вредительстве). Особенно изощрялся на допросах мамы следователь Львов. Правда, маму не били и никак физически на нее не воздействовали. Мама отвечала следователям, что ее муж не мог так чудовищно себя оговорить, а если этот самооговор случился, то его пытками свели с ума. Однажды маме с отцом НКВД устроил очную ставку и на всю жизнь мама запомнила его слова: «Кароля, из всех тюрем я выходил, а из советской мне не выйти.» (Кароля-это имя моей матери. При рождении еврейской девочке дают двойное имя. Мамино имя: Ента-Кароля.

Рядом с тюремным двориком, с наружной его стороны, находился заброшенный сарай. Мама, со своим тогда большим животом, залезала на крышу этого сарая в надежде увидеть отца во время прогулки по тюремному двору. Иногда ей это удавалось и всякий раз его на прогулку выводили одного, а посему мама поняла, что отец сидит в одиночной камере. После моего рождения, во время одного из таких «свиданий» с отцом, мама ему дала понять, что у него родилась дочь. Но однажды мама с ужасом обратила внимание на очень странное поведение отца во время прогулки и ей стало понятно, что **отец лишился рассудка** в результате нечеловеческих пыток. Мама бросилась к следователю Львову: «Что вы сделали с моим мужем? Ведь вы его свели с ума». Больше мама никогда не видела своего мужа.

А вскоре арестовали у маму. При аресте старшую дочь (ей через месяц исполнялось 13 лет) силой стащили с маминой шеи, а маму со мной на руках (5-ти месячной) увели. Таким образом маму разлучили со старшей дочерью, и они еще долгое время ничего не знали друг о друге.

Маму со мной вместе отправили отправили товарным поездом и сна не знала, куда их везут. В вагоне были одни женщины, некоторые из них – с грудными детьми. Путь был долгим, состав на станциях не останавливался, он останавливался в глухих местах, воду для питья брали из сомнительных источников во время стоянок, и в результате у многих женщин в пути умирали дети. Я осталась жива только потому что на протяжении всего пути мама ни разу не поила меня той водой, у нее несмотря на все беды, сохранилось грудное молоко. Я это объясняю тем, что жизнь мою маму никогда не баловала, а закаляла, подготавливая ее все к более тяжелым испытаниям.

Родом мама из очень бедной семьи и очень религиозной еврейской семьи. ЕЕ отец вернулся с русско-японской войны инвалидом и вскоре умер совсем молодым. А вскоре умер старший брат (12 лет). Мама рано вышла замуж за парня из бедной многодетной семьи наперекор воли своей матери. Отец мой не работал, не имел специальности. Его профессия – коммунист (значит, атеист). Все шесть лет замужества до выезда в СССР мама провела в основном, в пеших, часто многокилометровых и часто с маленькой дочкой на руках, походах: дом-тюрьма-дом, спеша на свидания к отцу или по его просьбе, распространяя листовки по каким-то явочным адресам (то, что у нее на руках был маленький ребенок, отвлекало от нее подозрение полиции). После нескольких лет спокойной, нормальной жизни в СССР маму постигло большое горе – у нее умер 3-х летний сын, а спустя несколько месяцев наступил и для моей мамы, и для многих миллионов советских людей роковой 1937-ой.

Во время очередной из многочисленных стоянок в пути следования в вагон зашли работники НКВД и объявили женщинам, что они осуждены по статье 58 как члены семей изменников родины к различным срокам пребывания в ИТЛ, куда их и везут. Сроки были 5 и 8 лет. Моей маме и тут выпало худшее: она была осуждена на **8 лет.** Привезли их в Карагандинскую область в Казахстане. Это был женский лагерь, в котором собрали восемь тысяч женщин-жены, сестры и дочки очень известных партийных работников, военачальников, членов правительств, поэтов, писателей, артистов и др. Нпр. жена старого соратника Ленина Сарра Гоц, жена его же соратника Енукидзе, с которой мама в лагере подружилась и которая вскоре умерла, а ее 16-ти летнюю дочь Ниночку после этого сактировали, т.е. выслали из лагеря по болезни (то ли белокровие, то ли туберкулез), жена Голодеда (веру Степановну я помню уже по после реабилитационному периоду жизни в г. Минске) жена Гикало, сестра Тухачевского Мария и др. Следует упомянуть, что у большинства из этих женщин детей забрали при аресте и, забегая вперед, должна сказать, что многие из них так и никогда встретились со своими детьми и ничего не узнали о их судьбе.

Первые годы пребывания в ИТЛ женщины выполняли очень тяжелые работы по строительству, заготовке стройматериалов, резали, стоя в воде камыши и т.п. Детей поместили отдельно в сад-ясли. Но, когда женщины возвращались с работы, они через невысокий забор, которым был огорожен сад-ясли, могли видеть своих детей и, конечно, каждая мать искала взглядом своего ребенка. Я должна сказать, что заключенным этого лагеря повезло с его начальником. Он оказался весьма человечным человеком для того времени и места. Еще женщинам была разрешена переписка 2 раза в год. И как только мама об этом узнала, она послала письмо в г. Гомель семье Рашан, единственной, не отвернувшейся от нашей семьи после ареста отца, а с девочками из семьи Рашан дружила моя старшая сестра Сарра. О ней мама и просила их сообщить все, что они знают.

А в это время Сарра уже находилась в обычном детском доме в г. Суздаль. Там она познакомилась с другой девочкой (старше ее на 1 год), мать которой, как оказалось, находилась в одном лагере с мамой, но получила срок : лет, несмотря на то, что на момент ареста ее муж, т.е. папа этой девочки – Лизы Волкович, занимал пост 1-го секретаря ЦККП Белоруссии. Сарра и Лиза подружились, даже сроднились на всю жизнь. Забегая вперед, хочу сказать, что обе они стали блестящими хирургами. Должна заметить, что Суздальский детский дом оказался благоприятным местом для моей сестры и ей подобных (детей врагов народа), благодаря той доброй и теплой атмосфере, которую создал там его директор – очень хороший человек. Он посоветовал Сарре написать письмо в г. Гомель своим подружкам из семьи Рашан. Моя сестра стала с ними переписываться, и когда они получили письмо от мамы, то сообщили ей адрес. Таким образом мать и дочь нашли друг друга и началась между ними «регулярная переписка» (2 раза в год, т.к. чаще не разрешалось). Здесь я должна сказать, что мама моя была абсолютно безграмотна по-русски, да и говорить по-русски еще не очень умела (ее родные языки были польский и идиш). Письма под ее диктовку писала какая-нибудь «подельница» и читала ей ответы. Переписка разрешалась 2 раза в год.

Мама продолжала в лагере ходить на тяжелые работы (стройку, заготовку камыша и др.). Не раз у нее были переломы руки, ноги, обострилась болезнь желудка. Ее стал преследовать страх, что может не дожить до конца своего срока заключения. Она очень боялась, что в этом случае ее дочери никогда не воссоединятся. Неожиданно начальник лагеря объявил, женщинам, что их детей, находящихся на территории лагеря (они могли видеть своих детей иногда хоть издали) в ближайшее время отвезут в другое место. И тогда мама обратилась к начальнику лагеря (Баринов – фамилия начальника лагеря) с просьбой, чтобы он разрешил ее старшей дочери забрать из лагеря младшую (меня), но Баринов объяснил маме, что он не имеет права не то, что добыть разрешение, но даже выслушивать подобные просьбы. Надо иметь в виду, что старшая дочь была несовершеннолетней – ей было 16 лет. В общем, после очень частых, настойчивых и, очевидно, аргументированных просьб мамы, начальник все же дал согласие, не испугавшись, что это может стать прецедентом для других женщин.

Мама сразу же послала письмо в суздальский детский дом. В письме было два обращения – одно к дочери, где она просила ее приехать и забрать свою 4-х летнюю сестру и что она должна любым способом уговорить своего директора разрешить ей отправиться в столь дальний путь и разрешить принять в свой детский дом ее младшую сестру. Второе мама адресовала к директору детского дома, где она просила о том же и его. Я тут хочу сделать небольшое отступление от изложения фактов.

Время, о котором я пишу, было очень страшным. Оно было страшным для всех советских людей, но те, кто занимал такие должности, как директор детского дома и особенно начальника ИТЛ для членов семей врагов народа, вообще не имели права на малейшую вольность в своих словах, тем более в поступках. Потому иначе, чем человечность и смелость я не могу квалифицировать согласие этих двух человек удовлетворить просьбу мамы – жены изменника родины.

Итак, директор детского дома купил билет на поезд моей сестре, дальнейшее на обратный путь, продукты в дорогу и проводил. Путь предстоял долгий. Ей казалось, что поезд идет медленно, что слишком часто останавливается, ее одолевало крайнее нетерпение поскорее обнять маму и обо всем ей рассказать: обо всем пережитом, о планах на будущее, она хотела увидеть свою сестренку, которую она видела последний раз 5-ти месячной, и которой через две недели должно было исполниться 4 года. Ее воображение рисовало ей различные варианты встречи. Но…

В один из дней пути по радио объявили, что Германия напала на СССР. Началась война. Люди стали покидать поезд, чтобы вернуться назад и от какой-то станции моя сестра оказалась совсем одна во всем вагоне (мысль о возвращении ей даже не приходила в голову). По прибытии в мамин лагерь ее ожидал не меньший шок. Ей сказали, что в связи с военным положением отменено разрешение на свидание с мамой, а о том, чтобы забрать сестру, не может быть и речи. И тогда сестра упала на пол, стала целовать сапоги у конвоира, плакала и просила разрешить ей «хоть одним глазком увидеть мамочку» и она уедет. Она потом рассказывала, что во время этой сцены у начальника и конвоиров были слезы на глазах. Начальник поднял с пола мою сестру и сказал, что разрешает ей увидеть (только увидеть) маму и что после этого она должна сразу покинуть территорию лагеря. Мать и дочь увиделись, говорить было нельзя, да они и не могли, они только плакали, да и длилось это в буквальном смысле мгновение. Меня она так и не увидала. Она сразу же уехала обратно. Весь обратный путь (а был он более долгим, т.к. уже шла война) она плакала, плакала, плакала.

С началом войны в лагере была организованна швейная фабрика и женщины получили гораздо более легкую работу, а нас-детей увезли в детский дом за 50 км. от лагеря. В совершенно необитаемом месте был создан маленький «поселок», не более 10 маленьких низких домиков из самана, расположенных в один ряд, для детей и обслуги (воспитателей, вожатых и т.д.). в центре чуть-чуть сбоку находился колодец, откуда черпали воду. В каждом домике размещался один отряд. С 3-х сторон находилась степь, а с четвертой стороны был лес, что является редкостью для Казахстана. В домике не было никаких перегородок, но в одной половине стояли кровати железные, а в углу стояла длинная деревянная вешалка. Другая половина предназначалась для занятий с воспитателями – чтения и работы; о характере работы расскажу дальше. Спали мы совершенно голыми по двое валетом до 7 лет, т.е. до школы. Когда кто-то из нас становился школьником (шел в 1-ый класс, ему полагалась отдельная кровать и возможность спать не голым. Все воспитатели были добрыми людьми. Моя память до сих пор хранит имя одной из них самой пожилой и самой доброй – Гинда Ольфовна (не знаю, немка или еврейка). Директор детского дома тоже был неплохой человек и совсем нестрогий. Он нередко заходил к нам и спрашивал, не обижают ли нас и просил обращаться прямо к нему в случае, если кто-то нас обидит.

А вот вожатые-девки 16-17 лет очень издевались над нами. Вспоминая сейчас об этом, я задаюсь вопросом: почему они были такими жестокими по отношению к нам? Ответ у меня есть только один: ведь все мы были детьми «врагов народа» и эта жестокость была выражением их патриотических чувств. Они нас били беспощадно. Ремней у них не было, но брали середину обычного вафельного полотенца в рот и скручивали его жгутом, раздевали догола «провинившегося» и били на глазах у всех детей. Затем, избитая жертва совершенно голая должна была стоять в узком темном углу между глухой стеной и длиннющей деревянной вешалкой. Плакать не разрешалось, жаловаться категорически запрещалось, да и посещения директора проходили всегда в присутствии мучительниц.

Питание в детском доме было 3-х разовое. Чувство голода было постоянным, но это чувство тогда испытывали очень многие и многие советские люди – ведь была война. Ну а коль время военное, то и мы, дети, должны были в меру своих сил помогать фронту. Я помню, что лет с 6-ти мы работали следующим образом: после завтрака ежедневно мы садились вокруг огромной кучи шерсти прямо на полу. Скубили эту шерсть, и так несколько дней подряд. Затем в течение нескольких дней мы эту очищенную шерсть пряли (у каждого была маленькая проволочка – веретено), а когда нитки были смотаны, то мы также, сидя в кружочке на полу, вязали шерстяные носки и рукавицы с 2-мя пяльцами для фронта. Вязание осуществляли конвейерным способом на 5-ти спицах: первый по кругу вязал резинку и передавал следующему, который должен был взять от конца резинки до пятки, следующие – пятку, следующий от законченной пятки до начала «носка», следующий завершал «носок» и таким же образом вязали и рукавицы. Следует отметить, что каждый из нас умел выполнять любую из этих операций так, что мог заменить в этом конвейере выбывшего на время. Выбывали очень редко не потому, что, не болели, а потому что болели на ходу. Так, например, у всех у нас были часто кровавые поносы. Сейчас я понимаю, что это была дизентерия. Но тогда этого слова никто из нас не знал и никому из взрослых не жаловался и ничем не лечился. Я не помню, чтобы был насморк у кого-то, да и слова такого тоже не знали, а вот «кровяной понос» — это частое явление, которое проходило, опять возвращалось и воспринималось как неизбежное и сезонное (только летом).

У меня ко всему был сильнейший фурункулез. Все руки (от запястья до плечей) и ноги (до ступней) были забинтованы. Очень мучительными были перевязки, т.к. бинты присыхали к многочисленным ранам и когда их снимали, было ужасно больно, но плакать нельзя было. Лечили меня уколами, которые помню делали через день почему-то кололи в верхнюю часть ноги – ляжку, а не в ягодицы, как делают сейчас.

В 1944 г. я пошла в школу и с этих пор у меня появилась персональная койка (до сих пор я спала с кем-то валетом). Школа находилась в 7 км. от детского дома в поселке Осакаровка. Ходили в школу пешком целой группой в сопровождении кого-то взрослого. Каждый из нас по очереди – по одному дню туда и назад носил сумку с тетрадями и учебниками для всех. Я не помню, чтобы мы пропускали учебу, в сильный мороз, по сугробам, в пургу мы шли в школу и никогда не замерзали. Мы, очевидно, были тепло одеты. Единственная проблема у нас была всегда в начале зимы – это варежки. У каждого из нас над кроватью висели ватные варежки на стене, которые нам прислали наши мамы (об этом я расскажу ниже), но за летнее время в них заводились клопы и, когда их нужно было надевать в первый раз с наступлением зимы, они кишели внутри клопами и надевать никто не хотел и в варежках был только тот, кому выпала очередь нести сумку с тетрадями. Поэтому иногда бывали случаи обморожения рук.

Для отличников в конце учебного года устраивался праздничный (торжественный) ужин. Естественно, каждый стремился попасть туда. Четверка по чистописанию (был тогда такой предмет) не позволила мне после 1-го класса быть на этом ужине. Но вот за 2-ой класса получила «Похвальная Грамота» и была в числе приглашенных. Смутно помню, что вернулась оттуда сытой, и было там, кажется, что-то вкусное (сладкое).

Каждое лето после завтрака и перед ужином (в свободное от работы время, т.е. если не завезли шерсть для обработки или проволоку для иголок – ведь мы иногда еще и делали иголки) мы ходили в лес (он был совсем рядом и сопровождение старших не требовалось) и буквально в огромных количествах поедали заячью капусту и дикий чеснок. Ягоды там не водились, и мы даже не подозревали о их существовании. Возможно, мы выжили благодаря употреблению столь большого количества чеснока. Я на всю жизнь сохранила любовь к этому продукту. Поскольку детский дом находился в безлюдном месте, то зимой по ночам вокруг наших домиков бродило много волков. Часто они тыкались буквально в наши окна (ведь дома были небольшие с низко расположенными окнами). Один раз в году у волков был праздник – волчьи свадьбы (так рассказывали нам воспитатели) и мы любили смотреть на это завораживающее зрелище. Кругом степь, покрытая снегом и по ней, движется необъятная черная стая волков. Но мы настолько привыкли, что с наступлением темноты вокруг наших домов бродят волки, что мы их совершенно не боялись (мы даже их подсчитывали), понимая, что находимся в «крепости», недоступной никоим образом для них. Но был однажды такой случай: одна воспитательница с наступлением темноты (уже нас уложили спать) пошла в соседний отряд (т.е. домик), а утром ее между домами (расстояние было не более 40 м. так я думаю) нашли – вернее то, что от нее осталось: много костей и сапоги, в которых были остатки ног, а еще много сожженных спичек (ими она хотела отогнать волков, ведь они бояться огня – так нам всегда говорили взрослые) и разбросанные рваные тетради.

Наши мамы имели право посылать посылки в детский дом, каждая своему ребенку (не помню один или дважды в год). Ведь с начала войны они работали швеями и из мелких обрезков тканей они шили для нас ватные варежки, тапочки и др. В посылках были семечки, сахар кусковой из их пайка, который они откладывали в течении года. Всегда при получении кем-либо из ребят посылки, всех детей этого отряда собирали вместе, объявляли, кто из нас получил эту посылку и содержимое делилось поровну между всеми.

Я на всю жизнь запомнила такой случай. Было это летом, мы все были на улице. Вдруг кто-то закричал: «Скорее сюда! Витьке (а может Петьке или Леньке – имя не помню) прислали варенье. Мы сбежались на этот зов и увидели, что у кричавшего в руках блюдечко (а может тарелка – не помню) с «вареньем». Множество рук потянулось, стали загребать и нести в рот, но вдруг, все, кто уже дотянулся и положил в рот, стали плеваться и кричать: «Фу, это же «говно». Все, кому не досталось стали смеяться, а мы плевались, рвали траву и вытирали рты. Этот случай показывает, какие мы были голодные и что «кровяной понос» (так мы это называли) – частое и привычное явление для всех нас.

В июне 1946 г. в детский дом приехал брат девочки из моего отряда Светы Колчиной (надо сказать, что к этому времени многих детей уже увезли). Он был офицер, ехал с войны в лагерь, чтобы забрать свою мать и сестру. Когда он собрался ехать за сестрой, то моя мама попросила его, чтобы он привез меня. Покидала я детский дом в слезах, ни за что не хотела уезжать и всю дорогу ревела. А все потому, что не представляла себя вне детского дома. С 6-ти месяцев до 4-лет я находилась в детских яслях (саду) при лагере, а в 4 года (сначала войны) нас отвезли в другое место (детский дом) я себя помню и почти все дальнейшее именно с момента, когда нас привезли в детский дом и выгрузили из машины, посадили всех детей на полянку у дороги, спустив всем штанишки, т.к. туалетов не было. Помню, что встретили нас несколько взрослых у машины и потом повезли по домам. К своим 9 годам, т.е. к отъезду из детского дома, я никогда не задумывалась о том, что где-то существует другая жизнь, хотя в школе, в которой учились мы, вместе с нами учились другие дети – не детдомовские, но мы с ними, по-моему, не общались, по крайней мере, я этого не помню. Я только запомнила, такой случай. Однажды, в день моего дежурства в классе, я вышла из класса во время перемены, а когда вернулись в класс, мне сказали, что я должна помешать уголь в печке (это входило в обязанности дежурного по классу). Кочерга всегда стояла у печки, и я взяла кочергу, а она с шипением прилипла к моей ладони, я закричала, а дети (не детдомовские) засмеялись, а наши дети побежали за учительницей. Она пришла, схватила меня и повела в учительскую. Мне приложили тертый сырой картофель (до сих пор не могу понять, откуда они взяли) и завязали. Учительница наша (звали ее Серафима, а отчество не помню, была очень хорошая). Она объяснила на уроке детям (не ругала, а именно объяснила), что никогда нельзя обижать никого и делать другим больно. А это кто-то из детей специально подержал кочергу в горящей печке длинным концом перед тем, как я должна была мешать угли.

Когда я приехала из детского дома в лагерь, ко мне бросилась со слезами моя мама. Она обнимала и целовала меня, а я ее отталкивала и кричала, что я ее не хочу видеть, что она не моя мама и что я хочу назад в детский дом. Но чуткость, такт и исключительное терпение моей мамы растопили лед в моей душе, и я ее очень полюбила, признав в ней маму. Я хочу описать лагерь (насколько помню). На огромной территории стояли невысокие невообразимо длиннющие бараки. В одном из таких бараков я с мамой прожили 3 месяца. Людей в лагере было мало, а детей, кажется, не было вообще. Срок заключения у мамы закончился еще зимой, т.е. 28.11.1945 г., но она продолжала работать на швейной фабрике вольнонаемной. Барак был темный внутри. Я не помню были ли в нем окна, но было несколько очень широких дверей. Жильцов уже в бараках почти не было. Во всю огромную длину барака с перерывами на поперечные проходы от одних до других дверей размещались нары в 3 этажа. 2 этажа были обитаемыми (раньше), а на третьем этаже под самым потолком женщины, хранили свои нехитрые личные вещи. во время моего 3-месячного пребывания в лагере, в нашем огромном бараке проживало всего несколько женщин.

В сентябре 1946 г. пришло распоряжение, что все оставшиеся обитатели лагеря должны его покинуть, т.к. лагерь должен принять уголовников. Мама была очень расстроена, ибо нам некуда было ехать. Старшей сестре оставался один год до окончания института, и мы собирались поехать туда, куда она возьмет направление. Мама была в растерянности. И тут ей опять помог начальник лагеря (вспомнила его фамилию – Баринов. Мама всегда его называла при воспоминаниях по фамилии, но всегда с теплотой и благодарностью). Так вот, начальник лагеря дал маме рекомендательное письмо к своему знакомому- начальнику строительного управления и просил помочь в трудоустройстве и жилье. С этим письмом мы уехали из лагеря в г. Акмолинск. Там я пошла в 3-ий класс. Маму взяли на работу уборщицей в общежитие и там же мы поселились. В одной комнате с нами (да, да, именно в одной комнате) жили два просто замечательных русских парня, вернувшихся с фронта. Одного помню звали Виктор, а имя второго не помню. Они помогали часто маме в ее тяжелой работе. Она должна была не только убрать все комнаты (их было очень много), но наносить уголь и протопить все печки во всех комнатах. А еще там жил и занимал один целую комнату очень старый человек (ему тогда было 78 лет), но он еще работал, правда больше на дому. Он был редактором каких-то изданий. Это был старый истинный русский интеллигент, звали его Николай Иванович (фамилию не знаю). По его просьбе мама ему варила и стирала, за это он ей платил и меня часто угощал. Но эта «спокойная жизнь» продлилась всего 2,5 месяца, т.к. при первом же сокращении штатов маму уволили. Не помогло и заступничество наших соседей по комнате и доводы Николая Ивановича, что маме с ребенком некуда деться, да и еще зимой. Кто-то маме подсказал, что требуется уборщица в мастерскую по обработке кож. И мама туда устроилась. Мастерская находилась в одноэтажном жилом доме. Там был один большой зал, где вымачивались и обрабатывались кожи и работали там человек 10 – ингуши, чеченцы, русские. Кстати, от общения с ингушами и чеченцами у нас остались самые хорошие впечатления. Через длинный темный коридор (он никогда не освещался и был очень узкий) находились две маленькие каморки, одну из которых занимал начальник мастерской Исаак Львович, а в другой поселились мы. Вонь от вымачивания и обработки кож и шкур была (специфической и резкой) постоянной, к ней невозможно было привыкнуть, чтоб не замечать. Этот «запах» преследовал меня еще долгое время после отъезда из Казахстана. У Исаака Львовича была сильная экзема. Мама ему варила, стирала и за это он каждый день давал мне на обед из своего меню тарелку супа, котлету и стакан какао, а это была, роскошь по тем временам. До 10 лет, т.е. до приезда в Белоруссия я никогда не слышала о существовании такой национальности – евреи. В детском доме мы были все одинаковые (я так думала). В Акмолинске я узнала, что есть казахи, чеченцы, ингуши. Но о евреях я не слышала и считала, что я и мама – русские. Я подружилась с тремя сестричками из одной русской семьи, имевшей собственный дом. Поскольку мои подружки не могли приходить ко мне, то я все свободное время проводила у них, встречая там всегда радушие, внимание, даже заботу. Люди они были верующие и по воскресеньям ходили в церковь всей семьей. Так вот и я всегда с ними ходила в церковь, молилась (они меня научили разным молитвам), а на выходе из церкви целовала протянутую руку батюшки, который перед этим рисовал на моем лбу крестик кисточкой, смоченной в какой-то бесцветной жидкости. С ними я отмечала все религиозные праздники. Маме я об этом никогда не рассказывала, ведь ей было не до того. Вообще моя мама несмотря на то, что родилась в очень религиозной семье, после замужества стала атеисткой и оставалась ею до конца жизни. Она верила только в коммунизм и Ленина и до конца жизни любила петь большевистские песни (напр. «Замучен тяжелой неволей», «интернационал» и др.).

В Акмолинске мама познакомилась (не знаю, каким образом) с немецкой семьей, высланной в Казахстан из Поволжья. В семье было двое детей: девочка Оделя (моя ровесница и мы подружились) и мальчик 4-х лет Витя, папа Рудольф и бабушка (теща Рудольфа) мама детей умерла уже в Казахстане. Рудольф (как я вспоминаю) был очень высокий и красивый. Он хотел жениться на моей маме и даже его теща уговаривала маму выйти за него замуж. Работал Рудольф инженером-плановиком (сейчас, наверное, таких должностей не бывает), был умным и добрым человеком, но моя мама сказала такие слова: «После моего мужа на мне никогда не лежала другая мужская рука и не будет лежать». Тогда я не поняла значения этих слов, ведь мне было 10 лет. В последующие 10 лет я эти слова слышала еще 4 раза, т.к. в эти годы к маме сватались разные «женихи» - очень хорошие люди – врач (из г. Вилейка в 1949 г., где моя сестра тогда работала врачом-хирургом), а затем в 1945 г. (в этот год я заканчивала школу и должна была уехать от мамы) дедушка моего одноклассника сватался к маме (у него был большой собственный дом и работал он конюхом). Уговорами мамы занималась дочка конюха (мать его одноклассника), но мама ей ответила той же фразой. Был еще один экспедитор (сейчас тоже нет такой должности), он был женат, но жена уже много лет находилась в сумасшедшем доме, и моя мама – атеистка до мозга костей, сказала ему, что он не имеет права совершить большой грех и покрыть позором своих сыновей и внуков, приведя в дом другую женщину при живой жене. А последний мамин «жених» был юрист, он был самым настойчивым, т.к. не терял надежды несколько лет. Последний раз он приезжал уже в Минск. Мама была пенсионерка и нянчила внучку в семье моей старшей сестры, да и сама к тому времени имела квартиру в Минске. Этот человек явился с подарками даже для внучки маминой, и он имел беседу с моей сестрой, но на маму в этом вопросе никто не мог повлиять. Теперь, когда я уже пожилой человек и вспоминаю обо всем это, то думаю, что если бы мой отец умер естественной смертью, а мама в результате осталась вдовой да еще с ребенком, то я уверенна, что мама устроила бы свою личную жизнь хотя бы ради меня, чтобы мне жилось гораздо легче, чтобы не приходилось терпеть так много лишений. Но ведь мама знала (уверенна была, что знает), какую мученическую смерть принял ее муж. Она неоднократно рассказывала (когда я уже была взрослой), что его свели с ума в тюрьме пытками. И предать память о замученном муже, муже - мученике даже сделав при этом жизнь своему ребенку гораздо более легкой материально, мама не могла. Она была малограмотная, но от природы умная, очень порядочная и мудрая женщина и всегда пользовалась уважением тех. кто ее знал. В Акмолинске я закончила 3-ий класс и наступила осень 1947 г. Моя сестра закончила медицинский институт в этом году и возможность воссоединения для нашей семьи стала реальной.

Но я хочу вернуться на несколько месяцев назад. Меня все время мучил кашель и однажды мама отвела меня к врачу, а после рентгена и других проверок у меня обнаружили порок сердца, туберкулез легких. Правда, до сегодняшнего дня, т.е. до 78 лет у меня никогда не было серьезных причин для прохождения электрокардиограммы, и я не знала даже, кто такой врач – кардиолог, а вот диагноз туберкулез легких подтвердился. Мама добилась, (уже не знаю как) для меня путевку в туберкулезный санаторий «Боровое». Это был детский санаторий и находился в лесу. Мне показалось, что я попала в рай: одели нас в красивые (по-моему, розовые) брючные костюмы (может быть, это были такие дневные пижамы), прекрасное питание, чистые просторные комнаты, вокруг лес, в общем это была действительно 1,5 – месячная сказка. Забегая вперед, скажу, что что по приезду в г. Борисов меня снова определили в туберкулезный детский санаторий на 3 месяца. Этот санаторий не был таким роскошным, находился он на одной из городских улиц, но кормили там хорошо, во всяком случае, мой туберкулез перешел в закрытую форму (не опасную для окружающих) и в течение всей последующей жизни при прохождении флюорографии у меня всегда выявляли каверны в легких – следы прошедшего туберкулеза. А теперь я возвращаюсь в 1941 год, когда моя сестра вернулась в свой детский дом из дальней неудачной поездки в лагерь к маме. По прибытии она узнала о распоряжении, что в связи с военным положением все воспитанники, достигшие 16 лет, должны покинуть детский дом. Таким образом, она и ее подруга Лиза (она была на год старше и закончила в этот год школу) из г. Суздаля переехали в Иваново и устроились работать на ткацкую фабрику. Фабрика была очень старая и таким же старым было оборудование. Ткачи все почти были глухими от страшного грохота, с каким работали станки и были больны туберкулезом от жуткой производственной пыли в цехах. Они говорили девочкам (моей сестре и Лизе): «Не задерживайтесь на фабрике, ибо вас ждет такая же участь. Девчонки проработали на фабрике 1 год, пока моя сестра закончила школу вечернюю и получила аттестат зрелости, и обе поступили в Ивановский медицинский институт. Они поселились в общежитии института, стали работать в госпитале санитарками и сдавали регулярно кровь для раненых. Надо сказать, что, еще будучи в детском доме, моя сестра подружилась с одним мальчиком (не из детдома) – Сережей Устиновым (он был старше ее на 2 года). Кстати, когда сестра ездила к маме в лагерь, Сережа тоже дал ей деньги (сколько смог накопить). Так вот, когда началась война, он закончил ускоренные курсы и уехал на фронт. С фронта он прислал моей сестре (да, да, не своим родителям) аттестат на получение денег и эти от Сережи очень помогли на первых порах самостоятельной жизни моей сестре и Лизе. Но вскоре Сережа погиб (светлая ему память). Я видела единственную его фотографию, сохранившуюся у моей сестры. На ней высокий, спортивный, красивый, кудрявый с крупными локонами блондин. Моя сестра после войны несколько раз навещала его родителей в г. Суздале, и они всегда ее очень радостно принимали. Последний раз после многолетнего перерыва моя сестра вместе с мужем и дочерями (всей семьей на машине) навестила Сережину могилу (она в это время уже осталась одинокой) в 1974 году.

Жизнь в г. Иваново для моей сестры и Лизы была нелегкой, во время каникул почти все студенты уезжали, во время каникул, поэтому общежитие не отапливалось и кишели крысами. Но ведь в то время всем было трудно. В 1945 году они перевелись в Черновицкий медицинский институт и в 1947 году его закончили. Направление на работу они взяли в г. Борисов Минской обл., т.к. там жила уже два года Лизина мать, у которой тоже было ограничение в правах на жительство (она отбыла в Алжире 5 лет), а Борисов был маленьким городок и на него это ограничение не распространялось.

И вот наступило время нашего отъезда из Акмолинска. Мамин начальник дал маме незадолго до нашего отъезда несколько буханок хлеба и мама насушила на дорогу сухари, он дал ей немного денег на билеты. Всех денег нам хватило на билеты только до Москвы, где у нас должна быть пересадка. До Москвы поезд шел, кажется, неделю. В Москве мы несколько дней жили на вокзале, чем питались совершенно не помню и, как и где спали тоже не помню, т.к. впечатления от огромного множества людей, огромное здание вокзала, множества милиционеров со свистками, увиденных автобусов и трамваев просто захлестнули меня. Ведь до этого я никогда не видела в глаза автобус или трамвай, многоэтажных домов (правда, моя школа в Акмолинске была 2-х этажной), асфальта, широких улиц и т.д. Для детей транзитных пассажиров (наверное, администрация вокзала) устраивали разные экскурсии. Мама меня записала на экскурсию на экскурсию в Мавзолей Ленина и еще много последующих лет я очень гордилась этим фактом из свое биографии.

Не знаю, каким образом, но мы попали без билетов в поезд, который шел через Борисов. В Вагоне было очень много военных. Мама им сказала, что мы безбилетники и они, видимо, прониклись сочувствием к женщине с ребенком (я была очень маленького роста и очень худая). Они меня угощали и шоколадом, и печеньем (все это я видела и ела впервые). Я хорошо помню, что, когда заходили в вагон ревизоры для проверки билетов (а это было неоднократно), военные маму успокаивали и два-три человека из них подходили к главному ревизору и о чем-то с ним говорили и у мамы до конца пути не было проблем. Распрощались они с нами очень тепло. По приезду в г. Борисов мы стали жить вместе с моей старшей сестрой в снятой ею отдельной комнате. Но 10-ти летняя разлука, очевидно, сделала свое дело, и мама с дочкой (а вернее дочка с мамой, ибо моя мама по отношению к своим детям, а потом и к внукам была исключительно мягким человеком) не сошлись характерами, да и ко мне у нее не было сестринских чувств: она меня била по всякому поводу и без повода (ведь я была ей чужая, она видела меня последний раз, когда мне было 5 месяцев, а я ее никогда раньше и не видела). Мама, конечно, не могла допустить, чтобы кто-то меня бил и, буквально, через пару дней мама взяла меня, и мы ушли жить отдельно – сняли угол у хозяйки соседнего дома. В этом доме были две очень небольшие комнатки 7 квадратных метров (спальня, где спали бабушка, дочь и внук 7 лет, внучка 6 лет) ну а вторая комната – зал 10 квадратных метров. Там стоял стол, где мы все потом делали уроки домашние, кушетка, на которой днем все сидели, а ночью спала старшая внучка хозяйки 10 лет. В этой комнате мы поставили железную койку, которую моя сестра взяла у себя в больнице, на ней я спала вместе с мамой валетом до окончания школы в 1954 году. Шкафа у нас не было, но была большая глубокая плетеная корзинка-чемодан, где хранились наши пожитки, а летом – и зимние пальто, пересыпанные нафталином. Эту корзину мама взяла из дома еще при аресте в 1937 году, и она была с ней и в лагере. Я очень подружилась с хозяйскими детьми. Они были тоже бедные люди: отец погиб на фронте и жили они за счет детских пенсий, пенсии бабушки и небольшого огорода.

1950 год принес маме очень сильное беспокойство и страх. Она узнала, что началась кампания арестов тех, кто был репрессирован в 30-ые годы и отбыл уже срок. Она не ела, не говорила, не спала и все делала как-то машинально, не осознавая, она превратилась в скелет. У меня есть два маленьких фото моей мамы той поры: одно датировано 1948 г, второе – 1951 г. На первом – мама – еще молодая приятная женщина (45 лет), а на втором – изможденная глубокая старуха (а ей еще нет 48 лет). А еще вспоминаю, что моя сестра хотела выйти замуж в 1948 г. Жених был военный в чине подполковника, но ему запретило командование жениться на дочери репрессированных родителей. Он хотел демобилизоваться из армии, чтоб жениться, но моя сестра категорически отказалась на таких условиях выходить за него, как он не уговаривал. Он только что был зачислен в военную академию, хотел уехать в Москву вместе с женой, но сестра не хотела стать причиной слома его карьеры, а, следовательно, и жизни, т.к. кроме как быть военным у него никакой специальности не было (перед войной он успел закончить школу и два курса военного училища). Он уехал благополучно в Москву на учебу, и они больше никогда не встречались.

Мама пошла работать помощником повара. На самом деле она приходила на работу к 5 утра и должна была до начала смены, т.е. к 8 утра, к приходу шеф-повара начистить вручную огромный котел картошки, настрогать также вручную на терке морковь и настрогать капусту, поставить большой варить котел щей. Заканчивалась работа поздно ночью, т.к. после себя для следующей смены нужно было оставить чистыми несколько огромных котлов и сковород и навести порядок и чистоту на кухне. Мама работа через день. Она приносила с работы алюминиевый бидончик (1 литр) щей и котлету для меня. Шеф-поваром была совсем молодая женщина Шура. Она очень хорошо относилась к моей маме и когда мама ей сказала, что я не хочу брать эту еду, то она пришла к нам домой и сказала мне, что мама моя ничего с работы сама не уносит, а дает ей это для меня она потому, что дети других работников после школы приходят в столовую обедать, а я никогда не прихожу.

Зарабатывала моя мама 260 рублей. Из них вычитали заем, что-то еще (не помню), 100 рублей платила за квартиру. На остаток нужно было купить хлеб, молоко (иногда), учебники, тетради, мыло и др. мелочи, а также обувь, чулки, каждую неделю два билета в баню т.д. Иногда летом (не каждый год) маму посылали работать на 3 смены в пионерский лагерь. Она имела возможность и меня брать с собой, в результате она за лето могла сэкономить какую-то сумму денег и купить мне к новому учебному году новые туфли, чулки, сшить новые ситцевое и байковое платья. Шила платья мне мама сама на машине хозяйки дома. Школьной формы и портфеля у меня никогда не было, это были вещи не по маминому карману. Но комплексом неполноценности я никогда не страдала. У меня всегда было много друзей и подруг, я была спортсменкой (правда школьного масштаба, но имела спортивные разряды по волейболу и лыжам), руководила волейбольной секцией и вообще была популярной среди учеников, да и учителя многие ко мне относились с большой симпатией. Правда, в комсомол я не вступала, т.к. не могла врать в автобиографии, что мой отец умер, а писать правду, что он в тюрьме (тогда я так думала), я не хотела. Но странное дело, никто из учителей никогда меня не спрашивал, почему я не вступаю в комсомол. Ведь это были годы 1951-1954 и при той атмосфере в обществе (узнала я о ней гораздо позднее) и при обязательном членстве в ВЛКСМ учеников старшая классов никто из учителей и одноклассников не дал мне даже в минимальной степени почувствовать дискомфорт. А ведь, в то время как раз разворачивалась борьба с космополитизмом, было дело врачей, а в наших классах (двух параллельных) было немало евреев. И наши учителя не дали нам почувствовать и узнать ничего о той страшной атмосфере. Это действительно были честные, добрые и, очевидно, все понимающие ЛЮДИ, настоящие учителя. Я даже представить себе не хочу, что было бы, если бы это страшное время пришлось бы нам школьные годы моего сына с его учителями.

В 16-17 лет я с подругами начала ходить к гадалкам, моих подруг интересовали кавалеры, а у меня был только один вопрос к гадалкам: «Жив ли мой папа и когда он найдет нас?». Ведь я не знала, что он расстрелян, я хотела верить, что он где-то живет и просто не может нас найти. Наверное, я была очень инфантильной.

В 1953 г. когда умер Сталин, мама сказала: «Этот палач должен был давно сдохнуть». Для меня эти слова были шоком. Я ей закричала в ответ: «Значит, ты не зря сидела в тюрьме и, если я еще когда-нибудь услышу подобное, то заявлю на тебя в милицию, не считаясь с тем, что ты – моя мама!». Надо сказать, что смерть Сталина стала для нас (сверстников из моего окружения) безмерным горем. Мы его так боготворили, что не представляли, что жизнь может продолжаться без него. Каждый из нас совершенно искренне думал: «лучше бы я умер (умерла), чем Сталин.»

В 1955 г. моего отца реабилитировали и посмертно восстановили в партии, а маму реабилитировали в 1956 г., назначили ей пенсию персональную, выплатили компенсацию в размере 6000 рублей, за конфискованное в 1937 г. имущество. В 1957 г. маме дали комнату в общей квартире в г. Гомеле, т.к. в этом городе у родителей забрали квартиру после ареста отца. Летом 1958 г. к маме приехал из Бреста какой-то очень старый с виду мужчина. Оказалось, что он после 18 лет лагерей недавно вернулся и случайно (не знаю от кого, не спросила у мамы) узнал, что вдова Лихтенштейна С. Д. живет в Гомеле. Он приехал рассказать маме об отце. Они плакали и говорили весь день, а вечером он уехал. Этот человек в 1937 году был секретарем обкома. В тюрьме ему выбили все зубы. Я успела услышать только один рассказ. В тюрьме НКВД ему устроили очную ставку с моим отцом. Отец самостоятельно идти не мог, его волком притащили по полу в кабинет. Он лежал на боку, а на одной ягодице была глубокая кровавая яма-язва. И сказал, что отца, видимо, сажали на табуретку, перевернутую с одной ножкой. Мама меня отправила из дома, чтобы я не слушала всех ужасов, а сама она мне больше не рассказывала о том, что услышала от этого человека. Я же ее не расспрашивала, т.к. понимала, что говорить ей об этом очень больно и тяжело. Теперь, спустя более полувека и, читая в интернете документы страшного времени сталинских репрессий и свидетельства переживших застенки НКВД, а также признания их палачей, я с ужасом думаю: «Господи, через какие нечеловеческие пытки прошли миллионы невиновных людей и в их числе мой бедный отец.» Светлая им всем память. Оказывается, пытка табуреткой очень часто применялась в тюрьмах НКВД. А еще, когда я прочла об одной из изощреннейших изуверских пыток для мужчин, а именно зажим полового члена и мошонки в дверях, я вспомнила мамин рассказ о том, что в первые пару недель после ареста отца, она получала свидание и ей разрешали брать грязное белье отца в стирку и приносить чистое. И, однажды, развернув перед стиркой кальсоны отца, она увидала, что они в этом месте сплошь в крови. Она с этими кальсонами побежала прямо к следователю Львову и кричала: «ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ С МОИ МУЖЕМ?» Естественно, что после этого ей запретили всякие передачи в тюрьму.

В 1956-1959 г. была объявлена репатриация в Польшу. Моя сестра очень хотела, чтобы мы все уехали. Мама была не против – ей обещали и квартиру, и пенсию за мужа. Но я ни за что на свете не хотела никуда уезжать. Я говорила: «Моя родина советский Союз, и никуда я отсюда не уеду.»

Я в это время училась в Минске и жила в общежитии. Однажды меня пришли уговаривать (это было в квартире моей сестры) репатриироваться два работника польского посольства (они приехали из Москвы). Я до сих пор помню их фамилии Габариский и Попель. Они сказали, что что оформил меня как польскую студентку в СССР, что на каникулы я буду приезжать в Польшу, а по окончании учебы уеду туда насовсем. Но я была патологической патриоткой и отказалась. А все дело в том, что репатриироваться могла только моя мама со своими детьми. Сестра же не имела права на самостоятельную репатриацию (без мамы несмотря на то, что в паспорте у нее в графе место рождения было указано: Варшава). Мама же ни за что не хотела езжать без меня. Вот такая случилась ситуация. Но скоро сестра вышла замуж и оставила меня в покое (прекратились уговоры).

Я очень любила свою маму (правда, эта любовь пришла не сразу, а спустя годы). Она прожила очень тяжелую жизнь. Работала с ранних лет. Выйдя в 20 лет замуж за коммуниста, постоянно ходила по тюрьмам с передачами для мужа, сначала сама, а потом с маленькой дочкой на руках. А ходить приходилось иногда по много километров, т.к. жила она у родителей мужа в небольшом местечке Цховалье, а тюрьмы находились в разных местах и деньги на проезд не всегда были.

Когда родители приехали в СССР, то жизнь наладилась, у них в 1933 г. родился сын. Отец назвал Фридрих (в честь Энгельса), но в 1936 г. умер сын, а следующий 1937 год оказался для моих родителей роковым.

После лагеря в Казахстане еще, а затем и в Белоруссии, где бы ни работала моя мама, ее всегда по сокращению штатов увольняли первой (наверное, как репрессированную), но всегда с хорошей характеристикой ( в то время на работу не принимали без предоставления характеристики с предыдущего места работы). Вообще, подводя итог тому страшному времени, я должна сказать, что нам с мамой везло на хороших людей. Наверное, во все времена хороших людей на планете больше, иначе давно бы наступил конец света.

Детский дом выработал во мне внешнюю черствость в сочетании с душевной чуткостью, т.е. я не позволяю себе словами выражать чувства любви, сопереживания, жалости и т.д. Но я на деле любому человеку (знакомому и незнакомому) готова сделать все, что в моих силах и даже в ущерб себе.

За всю жизнь я ни разу не обняла свою маму и никогда не сказала, как сильно я ее люблю. Когда мама заболела раком, я умоляла Господа исцелить ее ценой моей жизни. И Господь с помощью врачей ее исцелил. Она прожила еще 11 лет. А обнимала и многократно целовала я свою маму, когда она была в гробу.

Сейчас, когда прошло уже очень много лет с того дня, когда мама навсегда ушла, меня не оставляет чувство вины перед мамой за то, что она никогда от меня не услышала таких желанных слов «Мамочка, я тебя очень люблю».

Теперь я очень часто говорю эти слова, обращаясь к маме, которая смотрит на меня с портрета, висящего над моей кроватью, горько плачу, но верю при этом, что моя мамочка меня слышит. Так что пословица «лучше поздно, чем никогда» очень неправильная. Как важно все успеть сказать вовремя, особенно искренние слова любви и особенно близким людям.

Умерла моя мама от болезни сердца в 1988 году в возрасте 85 лет.

P.S. В 1991 году я и сын мой переехали на постоянное жительство в Израиль и в том же году моя сестра со всей ее семьей тоже переехали на постоянное жительство в Австралию, куда с 30-ых годов прошлого столетия перебрались все братья и сестры нашего отца, кроме самого младшего. Его отец зазвал к себе в СССР, после смерти своего сына, а приехал он за несколько месяцев до ареста отца, а за 2 недели до ареста моей мамы пришли из НКВД за ним. А его дальнейшей судьбе мама ничего не слышала, но уверена была, что он разделил участь моего отца. Мама всегда сокрушалась, вспоминая его, т.к. он был совершенно одинок и плохо знал русский язык.

В 1999 г. я с сыном навестили мою сестру в Австралии. С тех пор мы больше не виделись. В этом году ей исполняется 91 год, а ее мужу (кстати, он участник войны) в этом году отмечает 90-летний юбилей. Лиза (подруга моей сестры из детского дома) умерла в Минске в 2013 году в возрасте 90 лет, в 2000 году она тоже была у моей сестры в г. Мельбурне и вернулась в Минск, переполненная хорошими впечатлениями. Кстати, у нас в Израиле она тоже побывала в 1994 году и тоже ей очень понравилось.

май, 2015 год.